

ХУДОЖНИК-ПРОВИДЕЦ

Игорь ВОЛГИН

НАД САМОЙ БЕЗДНОЙ... (Достоевский и судьбы России)

ЛИТЕРАТУРА КАК БОЛЬНИЦА ДЛЯ БЕДНЫХ

В первую послереволюционную пору скромную Мариинскую больницу для бедных, где родился будущий классик и где обретались главным образом венерические больные и больные туберкулезом, нарекли высокаторжественно и даже отчасти грозно: Больница социальных болезней имени Ф.М.Достоевского. Тем самым как бы достигалась двойная цель. Во-первых, тонко давалось понять, что названные выше болезни — не столько натуральное зло, сколько пережитки былого общественного устройства. А во-вторых, указывалось, что самой капитальной заслугой писателя, чьим именем названа больница, было радение о благе ее пациентов. (Кстати, знаменитая “Республика Шкид” — того же происхождения: Школе имени Достоевского приличествуют, разумеется, только социально ущербные дети.)

Трудно представить, чтобы, скажем, тюрьму назвали именем Пушкина — только на том основании, что вольнолюбивый поэт является автором стихотворения “Сажу за решеткой в темнице сырой...”. С Достоевским такие вещи случаются сплошь и рядом. Он, пожалуй, самый идеологизированный в мире писатель. Его именем клянутся по каждому удобному поводу; его призывают в качестве специалиста — как для подкрепления глобальных политических притязаний, так и для улаживания мелких квартирных склок. Его трактуют кто во что горазд — исходя, очевидно, из полагающейся ему “по чину” идейной полифонии.

*Вот ваш “Дневник”... Чего в нем нет?
И гениальность, и юродство,
И старческий недужный бред,
И чуткий ум, и сумасбродство,
И день, и ночь, и мрак, и свет
О Достоевский плодовитый!*

*Читатель, вами с толку сбитый,
По "Дневнику" решит, что вы —
Не то художник даровитый,
Не то блаженный из Москвы.*

(“Петербургская газета”, 3 февраля 1876 г., № 23)

Между тем мир Достоевского при всей своей бесконечной сложности обладает тайной цельностью и полнотой. И, рискуя навлечь на себя литературоведческий гнев, добавим: он еще изумительно прост. Ибо противоречивое многообразие этого мира как бы и существует “лишь” для того, чтобы на самом высшем доступном человеческому разумению уровне подвергнуть испытанию те “элементарные” истины, забыв о которых, человек перестает быть существом нравственным (а следовательно, разумным) и поневоле становится врагом самому себе.

А.Эйнштейн не зря утверждал, что Достоевский дает ему больше, чем Гаусс. Именно автором “Бесов” было доказано, что дважды два — в нравственном смысле все-таки не три, а четыре (с какой бы диалектической виртуозностью иные его герои ни утверждали обратное); что не существует истины без добра и что как бы ни был несовершенен и слаб человек, он — в силу данной ему свободы — обречен на то, чтобы хотя бы попробовать сделаться лучше.

“Злой гений наш” — сказано было о нем с оттенком ревнивой семейственной горечи. При этом забылось другое: “две вещи несовместные”.

В известном смысле все романы Достоевского — это развернутая метафора его Пушкинской речи. Он — писатель-мономан. Вся его проза — некий колоссальный метатекст, стержнем и двигателем которого является один неизменный сюжет.

Этот сюжет — Россия.

“И Я БЫ МОГ..”

Было бы излишним напоминать о принципиальных открытиях Достоевского в сфере собственно искусства, в обновленной и раздвинутой им области словесного творчества — этим не без успеха занимается академическая наука. Но Провидению было угодно распорядиться так, что результаты его писательской деятельности оказались для России “большими”, чем для всего остального мира. Иначе говоря, Достоевский у нас “больше”, чем Достоевский. Им, помимо прочего, был поставлен вопрос о смысле русской истории — если только, вопреки распространенному мнению, наша история имеет какой-то смысл.

Его собственная жизнь удивительным образом сопряжена с тем, что принято называть русским роком или русской судьбой.

Нет ни одной писательской биографии, в пределы которой вместились бы такое разнообразие даруемых нашей исторической жизнью персональных возможностей. То, что другие великие провидцы мыслят лишь как некую биографическую перспективу, с Достоевским случается въяве.

“И я бы мог...” — напишет Пушкин, в сослагательном смятении изобразив пять виселиц с силуэтами казненных. Достоевский там был. “Зовет меня взглядом и криком своим / И вымолвить хочет: “Давай улетим!..” — и вот уже воображенный автором поэтический орел устремляется в настоящую (“киргизскую”) степь со стен настоящего (омского) острога. “Не дай мне Бог сойти с ума...” — и тут же участливые российские критики начинают печься о страдающем эпилепсией романисте, уверяя читателей, что он-таки впал в помрачение рассудка (“и старческий недужный бред”), почему и дописался до “Дневника писателя” и “Бесов”. И, наконец, — “Давно, усталый раб, замыслил я побег...”: Старая Русса становится каким-никаким, но прибежищем на исходе жизни.

Русский бунт (как водится, бессмысленный и беспощадный) коснется Достоевского лично: его отец будет зверски убит теми самыми “мужиками Мареями”, которые в детстве бескорыстно ласкали будущего (по их милости) сироту. (Чем не повод потолковать о двух ликах народной души?) Русский заговор также не обойдет его стороной. Он не уберется ни от тюрьмы, ни от сумы (если разуместь под последней моменты отчаянного безденежья). Он познает забвение и славу, дважды вступив в одну и ту же реку, то есть вернувшись в литературу после долгого отлучения от нее. Ему будет позволено давать советы царям (которые, впрочем, не поспешат следовать оным). Он умрет, призывая уже обреченного государя “позвать серые зипуны” — в минуту, когда в соседней квартире, у него за стеной, цареубийцы будут готовить свой первоапрельский бенефис.

Достоевский впустил в свою индивидуальную жизнь сюжеты чужих, не имевших шанса пересечься жизнью. Мало того: история его собственного духа “в сжатом виде” как бы повторила весь спектр наших национальных духовных скитаний. В молодости преданный “прогрессивным идеям” (и в высшем смысле никогда не отступавший от них), он сумел постичь сатанинскую изнанку идеализма и подвергнуть жестокому художественному сомнению те основания, на которых хотел бы утвердиться прогресс. Он первым осмелился заподозрить российский либерализм в прекрасодушии, корпоративном эгоизме и отсутствии государственного инстинкта — то есть в тех родовых изъянах, с последствиями которых мы имеем несчастье сталкиваться до сих пор. Он, наконец, во всеуслышание заявил о всемирном призвании России — таком, каким он его понимал.

Все это, повторяем, вместились в пределы одной судьбы. Поэтому жизнь Достоевского можно было бы назвать “работающей моделью” России.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА

“Биография для понимания творчества дает чрезвычайно мало... — замечает Иосиф Бродский (возможно, косвенно полемизируя со словами А.Ахматовой о том, что “рыжему делают биографию”). — Можно пережить бомбардировку Хиросимы или провести четверть века за колючей проволокой

в лагере и не написать ни строчки. И можно провести только одну ночь с девицей и написать: “Я помню чудное мгновенье...”

Это совершенно справедливо, если рассматривать биографические события в качестве скучного школьного назидания к стихам или прозе. Важно, однако, не как эти события отразились в тексте, а кто их отразил. Иначе говоря, кто провел ночь с упомянутой эмпирической девицей. Художник реализует в творении (в каждой строке) весь свой душевный и жизненный опыт. Он свидетельствует о всем бытии, а не об отдельных впечатлениях бытия. Не обязательно ведать, “из какого сора” растут стихи, гораздо существеннее понять, чем замечателен тот садовник, который отважился их взрастить.

Впрочем, иные реалии тоже играют не последнюю роль.

Нам уже доводилось писать об одном “странном сближении”. Автор “Братьев Карамазовых”, чья молодость протекла в стенах оскверненного тайным царевичеством Михайловского замка, “вдруг” вспоминает (то есть художественно вспоминает) этот сюжет в своем последнем романе. Ибо отъезд брата Ивана Федоровича в Чермашню – отъезд, которым фактически (но без вербальной огласовки, с помощью “мимики и жеста”) дается “добро” Смердякову на убийство старика Карамазова, по своему нравственному тону напоминает поведение юного наследника престола цесаревича Александра Павловича, знавшего о заговоре, но в ту роковую ночь (с 11 на 12 марта 1801 года) ничего не сделавшего, чтобы спасти жизнь державного родителя.

Воистину: “Кто не желает смерти отца?”

Те, кто, не дрогнув, расправлялись с венценосцами в тиши императорских спален, посылали сметливым потомкам внятный намек. Власть, пожирающая самое себя, создает прецедент. Подробности **тайного умерщвления** в Михайловском замке не менее отвратительны, чем **публичная казнь** на Екатерининском канале: оба события отзовутся громом выстрелов в Екатеринбурге.

И опять – обстоятельства места: мы имеем в виду Екатерининский канал.

Это особая территория (или, если угодно, Зона) Достоевского. Здесь, неподалеку, в Коломне, располагался **тайный приют**, где на исходе “замечательного десятилетия” собирались по пятницам обреченные на заклятие гости. Вернувшись с каторги, автор “Белых ночей” долгое время жил в квартирах, либо выходящих прямо на канал, либо расположенных в его окрестностях, – как бы притягиваемый этим нешироким водным пространством, рассекающим самое сердце “его” Петербурга. Его повествовательные сюжеты связаны между собой “недержавным теченьем” Екатерининского канала. Здесь Мечтатель белой петербургской ночью встречает Настеньку. Здесь живет герой “Униженных и оскорбленных” и здесь же, под забором, умирает дедушка героини. Здесь, на набережных канала и в прилегающих к нему кварталах, на его невеликих мостах разыгрывается действие “самого петербургского” из всех отечественных романов. Здесь, раздавленный лошадьми, гибнет Мармеладов; сюда, на Екатерининский канал, выбегает обезумевшая

Катерина Ивановна со своими плачущими детьми. Здесь, на Екатерининском канале, вздымается идейный раскольниковский топор¹.

Мир Достоевского располагается на временной и пространственной (не побоимся даже сказать — хронотопной) оси Екатерининского канала. Два первоапрельских взрыва, унесших жизнь Александра II, как бы замыкают пронизанный этой осью круг романских и биографических превращений².

Перебирая бесчисленные “малые воды” Северной Венеции (“Пряжку, Карповку, Смоленку”), петербургский поэт отваживается дополнить список:
Стикс, Коцит и Ахеронт.

Русская трагедия совершается на берегах вечных рек.

ДВА МОНУМЕНТА

Достоевский говорил о времени, свидетелем которого он был, что “вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной”. Под “окончательной точкой” надо разуместь такую, дальше которой двигаться невозможно. Любое исходящее из этой точки движение имеет только альтернативный смысл: в бездну или от бездны.

“Бездна” по Достоевскому — это, конечно, всеобщая катастрофа, гибель династии и государства, глад и мор, разорение и смута. Но первопричина подобных бедствий — крушение нравственное: растление народа, осквернение его святынь, и т. д. Иначе говоря, бездна духовная. Разверзшись, она утягивает в себя “все остальное”. (Воистину — “бездна бездну призывает”.)

Именно над такой бездной колеблется Россия. Вообще-то подобное положение есть статическая особенность той страны, где родился и умер Достоевский. Такой пребывает она в эпохи напряжения, кризиса и перехода. Моменты эти нередко принимают в России затяжной характер. Не случайно фальконетов Медный всадник навеки застыл в подобной “позиции”.

*О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?*

“Над самой бездной”, — говорит Пушкин: то есть конь был остановлен в последний миг. Но седоки, подобные Петру, не рождаются дважды. Знаменитая конная статуя Александра III демонстрирует совсем иную манеру езды.

Сосредоточив в своих руках необъятную власть (деепричастный ритм этой фразы напоминает, кажется, тот, каким один пролетарский вождь остерегал соратников от другого), русские цари так и не научились благотельно и мудро пользоваться ею.

“Властелины судьбы”, они умудрились превратить образованное обще-

¹ Тот же Раскольников долго бродит вдоль канала, рассчитывая утопить похищенные у старухи-процентщицы вещи. Екатерининский канал — место сокрытия частных и исторических улик: “все концы в воду”.

² Надеемся, не надо разъяснять, что слово “ось” мы употребляем, так сказать, в аллегорическом смысле: известно, что Екатерининский канал (возникший на месте речки Кривуши) довольно-таки извилист.

ство в вечно обиженного на них “гордого человека”, взыскующего, правда, мировой справедливости (то есть склонного, как Раскольников, получить сразу “весь капитал”), но попутно, в либеральной рассеянности, жертвующего “бессловесной Лизаветой” (в роли каковой, например, оказался смертельно раненный рысаковской бомбой мальчик Коля Захаров). Все это в конечном счете повело к торжеству той государственной идеологии, которая, настаивая на своей “всемирной отзывчивости”, стала в известном смысле трагипародией Пушкинской речи.

Кошунственная удаль помянутого в “Дневнике писателя” деревенского парня, целящегося из ружья в освященную просфору (то есть, напомним, в Тело Христово), аукнется вскоре разухабистой припевкой двенадцати блоковских молодцов:

Пальнем-ка пулей в Святую Русь!..

Ибо: кто же не желает смерти матери?

Так овеществится указанная Достоевским жгучая национальная потребность — “дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну”. Но неужто только ради изящества слога предречено (или, по крайней мере, даден намек), что мир спасет красота?

К ВОПРОСУ О КРАСОТЕ

...Недавно на очередном конкурсе красоты телеведущий игриво спросил одну из претенденток, как она понимает эти слова. Скромно потупясь (вернее, обратив взор на те бесспорные прелести, которые давали ей основание надеяться на не самый маленький приз), чаровница ответила в том смысле, что именно подобные совершенства помогут человечеству спастись и даже процветать.

Достоевский, литератор в высшей степени иронический, некогда посмеялся над чисто “подростковой” трактовкой евангельских слов, будто раскаявшейся грешнице многое простится, ибо она “возлюбила много”. Юные толкователи евангельского текста (ощущавшие в себе “особый избыток юнкерских сил”) простодушно решили, что указанное прощение будет даровано в награду за те количественные показатели, которых верная последовательница Христа достигла в своей прошлой, греховной жизни. Или, как выражается Достоевский, “за усиленность клубнички”. Не так ли, уже выйдя из юнкерского возраста, мы пытаемся уверить себя, что мир будет спасен благодаря идеальным объемам талии и гармоническим пропорциям бюста? И досадуем, что цель отдаляется.

“Некрасивость убьет”, — в смятении шепчет Тихон Николаю Ставрогину, выслушав его исповедь о “поступке с отроковицей”. Старец, однако, догадлив. Но “проклятый психолог” не учел безразмерность прогресса. “Некрасивость” без тени стыда заявила свои права на обладание миром. И мы, дабы не выглядеть ретроградно, уже готовы к законному сожигательству с ней.

Между тем отнюдь не Гоголь, Толстой или Достоевский, а “самое обыкновенное” нравственное чувство (совпадающее, как ни странно, с их застарелой моральной тревогой) заставляет нас усомниться в том, что ныне нам

пытаются выдать за последнюю правду. Нам нелегко согласиться, что крушение великой страны было потребно для блага нас же самих. Нам трудно поверить в скромное обаяние нашей криминальной буржуазии и признать ее самоотверженный гедонизм мерилом гражданского счастья и лучшим выбором для наших детей. Нам не дано уразуметь (даже под угрозой отлучения от иных просвещеннейших стран), что демонстрация гениталий на экранах ТВ, равно как и отважное развенчание оных в новейшей (очевидно, психологической) прозе есть зримый признак духовной свободы и гарантия невозвращения тоталитарных кошмаров.

Хотелось бы верить, что мы все еще сочувствуем Сонечке Мармеладовой, а не Петру Петровичу Лужину. И что нам все-таки милее “чистый сердцем” Алеша, а не его погрязший в сквернах отец.

О какой же тогда красоте, если она, как сказал бы поэт, “прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилья”, может идти речь?

Человек есть образ и подобие Божие. И значит, он включает в себе частицу Божественной красоты. Но Бог был распят, что, согласимся, выглядит эстетически безобразно. (Недаром Достоевского так поразила картина Ганса Гольбейна Младшего “Мертвый Христос”.) Следует ли отсюда, что при этом была посрамлена красота?

В изумившем князя Мышкина портрете Настасьи Филипповны запечатлена не только ее прекрасная внешность. В этом лице — красота страдания. (Не следует путать с волнующим широкую публику “красивым страданием”, которое имеет несколько иной ценностный смысл.)

В безмятежных чертах любимой им “Сикстинской Мадонны” автор “Идиота” мог, очевидно, различить будущее материнское горе. (В отличие, скажем, от Белинского, который трактовал творение Рафаэля как пример Божественного равнодушия к миру.)

Красотой страдания не искупаются страдания красоты, но первое, быть может, способно хотя бы умерить второе.

Достоевский помнит о первомучениках христианства, о подвигах жертвенности, самоотречения и веры. На этом держится мир — и никакая (даже самая тонкая!) душевная изощренность не в состоянии заменить этих простых вещей. Недаром усматривается нечто отталкивающее в “формальной” неодухотворенной красивости того же Ставрогина.

Красота духовного деяния, красота поступка — путь к самоспасению мира. Но и муки совести, вечное боление духа — без этого, к сожалению, тоже не может обойтись красота.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК СТРАСТЬ

Но если главная (и, кажется, единственная) страсть Достоевского сосредоточена на России, в чем усматривает он главную красоту предмета?

“Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато

останется нравственно здоров организм нации – и нация несомненно более выиграет, даже и материально”.

Вот ядро всей “государственной философии” Достоевского. То есть – неделимость морали: совесть как единственный критерий жизнеповедения – будь то государство или частное лицо. Это означает не что иное, как внесение христианского сознания в сферу практической политики.

Автор “Дневника писателя” всерьез настаивает на том, что он именует “утопическим пониманием истории”.

“Нет, надо чтоб и в политических организациях была признана та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна светить. Иначе что же будет: все затемнится, замешается и потонет в цинизме”.

Сколь ни горестно в этом признаться, следует сказать: нынешняя Россия, несмотря на все наши ритуальные заклинания, все больше удаляется от Достоевского (как и он удаляется от нее). Снисходительно признаваемая миром в качестве бывшего поприща специфических – то есть нравственных – исканий (не имеющих, впрочем, прямого касательства к устройению “цивилизованной” жизни), она все чаще причисляется к сонму исторических маргиналов, завершивших свою мировую судьбу. У нас сегодня есть немалые шансы сделаться греками третьего тысячелетия, которые за умеренную мзду будут бодро водить любознательных интуристов по руинам некогда цветущей культуры, по нашим взятым под опеку ЮНЕСКО метафизическим Парфенонам: Пушкину, Достоевскому, Толстому и т. д. Нашим великим писателям, в отличие от нас, не пережить нашего исторического ничтожества. Отторгнутые от государственного тела России, они неизбежно превратятся в филологическую химеру – точно так же, как равнодушный к их “умствованиям” народ – в простой (по выражению Шатова из “Бесов”) этнографический материал.

Достоевский не мыслит России без одушевляющей ее “высшей идеи”, которая бы оправдывала наше присутствие в мире. Конечно, можно признать подобную веру национальным (навязчивым!) бредом. Однако это был бы уже исторический плагиат.

Стараясь огласить доверенную ему весть, автор “Карамазовых” поспешал из последних сил. Он жил “на разрыв аорты” – и аорта разорвалась буквально, материализовав поэтическую метафору грядущего века. Став нашим национальным архетипом, Достоевский – именно в силу этого – мыслит архетипами мировыми: текст принадлежит всем. Но, может быть, он, этот текст (как и вся русская классика XIX века), и есть та национальная идея; поисками которой нас спешит озаботить наивная власть?

Россия – идефикс Достоевского. Поэтому он хотел бы вместить в пределы русского духа весь мировой исторический смысл.

У Пушкина тоже есть кое-что в этой связи.

“O rus!” – восклицает Гораций, – и наш национальный поэт (не токмо ради красного словца!) отзывается весело и немедля: “O Русь!”